Андрей ГРИЦМАН

ОСТРОВ В ЛЕСАХ

Изд-во «Пушкинского фонда» Санкт-Петербург 2005

Андрей ГРИЦМАН

ОСТРОВ В ЛЕСАХ

КНИГА СТИХОТВОРЕНИЙ

Изд-во ∢Пушкинского фонда> Санкт-Петербург 2005 ББК 84. Р7 Γ 82 Дальнее дыхание весны, Облака невидимый полет, Ночью электронный лет звезды Ищет свой эфирный антипод.

И пока молчанье долготы Отражает падающий снег Площади полночные пусты: Треск реле да гул ночных планет.

Некогда в воронежских лесах Я один лежал — гуд проводов В нищем поле говорил судьбой, В сумрачных низинах таял страх.

И теперь, когда седой глагол Выдает, как шубы, реквизит, Воздух, пролетевший дальний луг, Тихо из отверстия сквозит.

Бессловесен мертвенный экран. Отсветы мерцают стороной. Но, как довоенная, с утра — Сукровица снежная весной.

В. Гандельсмани

Две души в потемках жили. То не жили — не то жили. Отдыхали впопыхах. Чудный стих в словесном иле засыхал в черновиках.

Вот одна из них как будто, протрезвев наверняка, захрипев встречает утро. Забывается на сутки и мытарит до звонка.

А ее подруга нежная все блуждает в полутьме. Днем ли, ночью ненадежной ли, горло прикрывая бережно, убегает налегке.

В поисках жены-сестрицы, от отчаянья живой. Сколько нам еще останется, если очень постараться, судьбами играть с тобой?

Я такая же, подруга, задержалась на года. По карманам погадаю: то судьба, то не судьба. Мелочи найти на два

остывающих жетона, чтоб хватило нам вдвоем. У последнего вагона переводчика Арона мы с належдой полождем.

Может быть, он сам приедет или спутницу пришлет. В зоопарк проедут дети. Или это только снится? Не приедет — повезет.

Подождет еще немного у тоннеля на ветру проститутка-недотрога, где подземная дорога ляжет скатертью к утру.

экскурсия

Вместо тригонометрии — Театр Советской Армии. Пергамент кожи красноармейца. Содранный колчаковской контрразведкой. Неразвеянный пепел Лазо под стеклом. Беззвучно звенящий ледяной лафет во дворе. Сырые темные недра шалаша в Разливе. Парное пиво в разлив у кольца трамвая. Неподвижные облака в тяжком полете Над пятиконечным горным массивом театра. «Вас вызывает Таймыр». Ледяной трамвай, трехгрошовая драма. Еще теплом мерцающие души, Плывущие мимо сказочного серебряного парка Института туберкулеза РСФСР. С бездонной каверной арки, К их последнему исходу — К высадке у кольца конечной. Бесконечная остановка.

Я ее знаю давно, еще до первого выбора, до шапочного разбора.

Родное, родина, родинка. Вот мой дом, вот мой родина: стрелка, развилка. Чай остывает, моросит. Спаси, Господи, раба твоего ото всего.

Ей-богу, это не я — это судьба, переодетая контролером в вагоне. Следующая станция: Скоротово.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СТИХИ

От Вифлеема к лазарету конвой прошел до поселенья. Погас кремнистый путь. Вдали горит звезда Давида. Безводным инеем наутро соль на поверхности земли.

В долине — дым. Мангал горит. Радар с ракетой говорит. Гниение на дне пещеры, где сера адская дымит. И шпиль в бездомности безмерной стоит столпом как символ веры.

Подходит праздник. Пестр базар. Поп раздувает самовар. Кто обнимает тротуар, кто из кувшина вино тянет. Мерцает желтая звезда и не смолкает никогда струна в божественном диване.

Под слоем вечной маеты: менял и клерков, пестроты, соборов, гомона и звона в туманной гавани костры всю ночь горят. Из пустоты гудит норд-ост. Потом с утра дымятся башни Вавилона.

Так и болтаешься между TV и компьютером: Хоть шаром покати, хоть Шароном. С полуночи знаешь, что случится утром. Вчерашний вечер прошел бескровно.

Только солнце село в пустыню сухой крови. Мертвое море спокойно, как в провинции «Лебединое озеро». Тени, как патрули, тают по двое. И вся земля — это точка зеро.

Расстегни ворот, загори, помолодей, умойся. Прохладны холмы Иерусалима утром. Там сквозные, резкие, быстрые грозы Обмоют красные черепичные крыши и Без тебя обойдутся. Кому там нужны твоя карма и сутра?

К вечеру маятник ужаса застынет в стекле безразличия. Заботы затоном затягивают под надкостницу. Жизнь-то одна, и она — неизбежная. Вот она жизнь твоя — места имение личное. Только крики чужих детей висят гроздью на переносице.

Цепь сигнальных огней над долиной Эйн-Керем дальнобойным полетом к незримым деревням, в бесконечную жизнь многослойных олив, в заминированный халцедонный залив.

Крепок мрамор холодный — расколотый воздух, где застыл истребитель, летящий на отдых. Над скалой, где шумит подземельная кровь, где не гаснут огни поминальных костров.

Мимо древнего рва и арабских окопов, где кусты проползают по колкому склону в невообразимую евразийскую даль, в ледяную молочную пыль и печаль.

Так во сне возвращаясь к далеким пенатам, к шлакоблочным прямоугольным пеналам, вдруг услышишь: взлетело гортанное слово. Словно выстрел в долине, откликнулось снова и разбилось беззвучно о скалы в Эйн-Керем, растекаясь листвой по масличным деревьям.

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ

1

Декабрь по Фаренгейту. Роща отряхает. Сосед спешит за пивом в угловой. Вернее, в супермаркет. Головой я понимаю путаность момента. Закрыв глаза, все тридцать лет я вижу как в медленном повторе на экране в последнюю минуту угловой.

Пора расслабиться. Подумать: будь что будет, писать хайку. Так наворочено всего, что не понять — никто не виноват. Судьба в одно касание живет с другой, потом летит. Лишь изредка, когда будильник будит, из сна плывут прозрачные слова.

Вернее, даже не слова, а след воздушный, словно в небе сверхзвуковое дежа вю. А ночью некому сказать: мне душно. Накрыться с головой и слушать. Я знаю сам: жалею, не зову.

Так оказалось, что опустошенье несимметрично по своей природе. Как зов без отзыва, как смерть без отраженья, враждебное

сгущенье одиночества, опущенного в быт, как в натюрморт, вернее, в этот стих о возвращенье:

2

«Паденье. Замороженный рассвет. Движенье, остановленное в фильме. В разреженном пространстве — струнный свет, застывший на завесе пыли.

Пыль памяти. Июня бормотанье, что худшее в разлуке — возвращенье к тому, что не случится, потому, что не сбылось, но продолжает жить воспоминаньем.

Забытое осело слоем пыли. Лишь отголоски запаха сирени, да в зеркалах мелькающие тени давно пропавших лиц. На темных полках книги видят сны о лесе. Ты изредка дотянешься до них, оставив пустоту в качающемся кресле.

В тот час видна слюда прозрачных лун, оттенки покаянья в сонных окнах. Пробравшись сквозь окрестные сады, прошелестев в пустом закрытом доме, где по углам воспоминанья глохнут, ты видишь прошлого безлиственные купы. Орешник свет струит на изумрудный купол, висящий меж прудом и старою скамьей, где ты порой сидел устало. Дождь напевает песню птиц, ту, что для всех давно молчаньем стала».

3

Я это знал десятого апреля, взойдя на хладный трап «Аэрофлота», и думал, что мне больше не видать ее лесов, полей и рек мазутных, ее озер глухопохмельных утром, где самый крепкий в мире коли-титр.

Я думал, может быть я и сойду на летное обугленное поле туристом в ярко-клетчатых штанах: обычный идиот-американец. И перепутав Третьяковку с Русским, и побродив по набережной Мойки, родных могил, конечно, не найду. Пройду по Пироговке, упаду на тот асфальт, где мы в футбол играли. Теперь там мрачный Фрейда институт у той пельменной, где психоанализ практиковали мы на девках наших. Они, крутя динамо, не давали, не понимая, что нас лучше нет.

Теперь, три с половиной жизни после, сижу в кафе на ряженом Арбате и слушаю Охотный звукоряд, и думаю: зачем я здесь сижу?

Я знал, это ошибка — возвращаться к засохшим сотам восковой фигурой, храня в глазах потусторонний дым. А подойдешь поближе — он густеет и, постепенно превращаясь в слепок, становится глазницами у сфинкса, что навсегда притягивают взгляд.

Наверное, долги за детство платят так, в который раз бессмертно выходя в московское заснеженное поле и каждый раз на сквере превращаясь в седого купидона-пионера (с комком у бледно-гипсового горла), сжимающего вместо горна лук.

Я ждал тебя в условленном метро (что означало разрушенье дома) под циферблатом с ликом Фаренгейта, навечно перепутав города.
О, только бы дождаться, ждать до лета, чтобы потом нам вместе затеряться хоть в Аризоне, в Юте, навсегда.

Но поздно, холодно. Да и рукой подать до той зимы: декабрь по Фаренгейту, озноб по Цельсию, заботы по-английски, советы доброхотов — лепет детский, а в снах чудесных слов не разобрать.

Я читал стихи теткам в норковых шубах. Платил по счетам, глотал фильтрованный воздух, Но по утрам шевелились теплые губы, Повторяя сны, что дремали в прокуренных легких.

Сны, где фут равен донному метру ночи, Долгота равна возвращенью лета. Суета поглощает, как губка, водицу речи. И в ее остатках видится так, как будто.

Я оденусь как все: вот — рубашка, галстук. Я надену очки, чтобы видеть грани. Но, как ни рядись, — остаешься всегда посланник, Последний вестник, даже когда по пьяни.

Так и будет: ночь поет Гельдерлином, А слова — гирлянды с засохшей елки. Праздник кончен, но есть в молчании долгом Два намека, ну три, — на пять кривотолков.

Заплатил за свет, за синий компьютер, Почитал что-то теткам в кондовых шубах. Все же бьется сердце в висок, шевелятся губы, Блики слов собирая чудным покойным утром.

Когда выдохнешь вслух отцеженный воздух, Прогуляться выйдешь на берег ночи, Остановишься вдруг, встрепенешься речью, Обернешься снова на собственный оклик. Ситуация грустная, моя дорогая. Воздух распадается на хладные глыбы. Мы в них живем, оберегая— каждый свое, я, например, — губы.

Сколько лет я шепчу, прошу слова. Мы с жизнью всю жизнь говорим о разном. Я не прихожусь ко двору и каждый раз снова ищу полосу жизни, за которой — бездна.

Но и к бездне глаз привыкает устало. Там что-то знакомое движется и мерцает: мешки, головные уборы, без конца и края тоска-пересадка, толчея вокзала. Я вернулся взглянуть, как живется снаружи. Или просто вздохнуть, повторить свое имя. Я увидел: бульвар наполняется паводком света и деревья стоят все в пуховых платках хлорофилла. Я проснулся легко, помня только о сыне.

Отойди на минуту, подумай, а может быть, этот остаток, быстрый спазм полусна, он и служит моим оправданьем. Пресловутое чудо мгновенья остановлено гипсовым взглядом. Это странное чувство, которое с первого взгляда нарушает людьми предназначенный сердцу порядок.

По огромным предсердьям толпятся слепые частицы, словно паства под сводом Центрального рынка. По ночным эскалаторам едут самоубийцы, ничего не найдут, только чувствуют, что существуют, так никем не опознаны. Только сами собою.

Я прошу, загляни через слой неразборчивой пленки, сквозь коросту годов. Ты увидишь, что нету ошибки. Это слой наносной, скорлупа, оболочка, но как у ребенка там мерцает изменчивым светом тепло сердцевины. И как в детстве — предчувствия горькие всхлипы.

Мы идем по пустеющим улицам, гадая, насколько чья-то доля вины тяжелее в посмертном итоге. Не волнуйся, мой милый, сказала усталая Ольга, это просто душа еще постарела немного, все равно под конец будет всем одинаково больно.

И недолго нам ждать, вот и вся тут недолга. Дорогие места шелестят ежегодной листвою. Каменистый ручей к декабрю замерз ненадолго. Вот Thanksgiving, и пригороды Вашингтона по утрам застывают на дне голубого раствора.

Это северный Юг, там, где мы когда-то любили синь газонов и реку в дремучих лианах. Все останется, но постольку-поскольку остается хоть кто-то из тех, для которых не странно расставлять бесполезные вещи на время по полкам ничейным,

на ничейной земле постоянного перемещенья. Средь разбитых зеркал мне знакомо лицо анонима, вновь воскресшего, не просящего о прощенье, после четверти века любви, проходящего мимо. Потому что раз нету любви — нет и прощенья.

Есть, однако, прощанье. Не то с языком созреванья, не то с воздухом в мертво-резервном пространстве. Когда все ускользает, остаются хрусталики зренья. Среди мертвых окопов — озерный хрусталь Зарасая, скифский дар — халцедонный прибой Коктебеля.

Не грусти. Все равно мы живем на краю Средиземного моря: дымный запах акаций, ржавый танкер и тающий берег. Все пройдет и остынет. Но есть предрассветное горе. Когда души расходятся, больше друг другу не веря. Это значит не верить себе, забыв о потере,

и готовить себя к своему же другому рожденью. Наклонясь над постелью, память вспомнит по воскресеньям о глубинном тепле, постоит надо мной, и простынет след ее, затихая шагами за дверью.

На чужом полуострове сердце спокойнее дышит. Там лежишь, как на дне, и себя только слышишь. День проходит, как пасынок ночи, Как боль по погоде. Ты приходишь, стоишь, словно звук Пастернака На мерзлом пороге.

Не понять, не остыть, но оставить. Откуда все это берется? Это сердце, напившись прибоя, медлительно бьется.

Память вьется плющом по чужому фронтону, По фронтону голландско-кирпичного дома, Тщетно в мире ища очертания дома.

Слышен шорох плавней Каролины, Дыханье прибоя. Постоишь на пороге и снова Сливаешься с морем.

С морем в зоне воронки,
Опасно напрягшейся ливнем.
Ожиданье напрасно, но жизнь —
Ожиданье, и в нем
Нарастает загадочный гуд,
Как в детской трубе водосточной.
Так прощаются с детством всю жизнь.
Но и это заочно.

* * *

Летя над океаном снега, подумал я, и слава богу, что невозвратная дорога видна в овальном том окне.

Глаголом жечь остались братья в глухом похмелье бытия. Там, в рамке, в черно-белом платье стоит наедине семья.

Там пограничной цепью годы с клочками виснущих забот. Сто проводов и сто обедов, и пущена наоборот

та пленка на обрыве века. И замирает до утра: ночь, улица, фонарь, аптека и весь в черемухе Арбат.

И. Б.

Среди забот какой зимы по Пятой ты проходишь мимо? Мы — поколение любви, поэтому неповторимое.

На 52-й с утра порой мелькнет подарком редким и тающая птица рта, и легкий поворот берета.

тот огонь

Я ушел, и огонь догорал без меня, И никто не сидел без меня у огня. Я зашел в магазин, и в аптеку, и в банк, Но горящий огонь все не шел из ума.

Я давно переехал и в новом дому Напеваю и грустно нормально живу. Жизнь идет, и привычно зовет западня. А огонь все горит и горит без меня.

Президенты сменялись и несколько зим, Я скучал по кому-то в какой-то связи, Говорил и писал и хватал за рукав. Собеседников круг поседел на глазах.

Жизнь живуча. Я вот — в магазин или в банк, То присяду к огню, потому что устал. Я дошел до угла, на мигающий свет Этих фар, и тепло все дышало мне вслед.

Я живу в новом горьком житейском дыму, Но того же огня я найти не могу. Отдыхая, сижу у другого огня, Но то пламя горит и горит без меня. Ложится ночь лениво на Норд-Ист. Плывет вдоль улиц мороком бензинным. Во влажности — огни наперекрест погасших звезд, машин и магазинов.

Она Голландцем виснет за бортом, певуче гомонит безродной мовой. Сам шевелишь губами не о том, себя не узнавая в незнакомом,

осевшем на поверхности земной в бесшумный лабиринт ночных флотилий стандартного жилья, где все темно. Лишь отблески TV не погасили.

Но где-то — светлый куб и теплый дух. Там подают стихи и чай с вареньем. Но нам — дорога в дальнюю страну, где спит в земле зерно стихотворенья.

Бахыту

Ну что же, посмотри вокруг: Нас человек за сто. Замкнулся безымянный круг, И на скале никто.

Пустынен хрупкий пьедестал, И воздух разрежен. Так часто чувствуешь: устал, Устал и окружен.

А обернешься — никого Нью-Йорк ли, Монреаль. Висит московское пальто, И ничего не жаль.

И никого не жаль, Кто сам решился за порог, Не есть с кухонного ножа Прокисший тот творог.

Пусть кто твердит наперебой, Как типографский пресс. Кто пьет безумье на убой И спать уходит в лес.

Пора о выборе забыть И ждать до петухов,

Пока отстанет сальный быт И на окраине стиха Забьется пульс судьбы.

компания

Вызывается первый, отвечает второй. Косится как-то, разит водярой. Третий навек пропал за горой, За мануфактурой, за живой водой. Четвертому все добавки мало.

Ни шатко ни валко идет пересчет — Пятый не в счет. Да его и не жалко. Шестой кропает, кропает, хрупает, Нитка в иголку не попадает. Не попадает в квартальный отчет.

Седьмой задохнулся, молчит надолго. Гулки шаги в хрустале ночи. Теперь его искать как иголку. Восьмой застыл, глядит волком, Но говорит прямой речью. Черт знает как спит ночью: Вино, таблетки — все без толку.

Девятый поет витиевато. Окна заклеил на зиму ватой. Да он и не виноват. Ест обед, одет, обут, Идет зарплата, все как будто.

Десятый — носатый, Бес с подпалиной. Но запеленгованный, меченый, Ошагаленный, за шлагбаумом. На Бауманской в последний раз замеченный.

Вот вам и клуб, всех на убой Кормят, поят, куда надо положат. А дальше? А дальше — мы с тобой... И слава богу, за этой стеной Нам уже ничто не поможет.

* * *

На этой улице, где живет поэт, Ветки целуют холодные стекла. Свет волокнами истекает на нет, И нас позабудут давным-давно.

Потому что нельзя войти в одну, Да и выйти, пожалуй, нельзя тоже. Вот оторву, к сердцу прижму. Только теперь люблю реже.

Резче северный дальний свет, И в фарах — очертания сада. Фонарь горит, говорит поэт, Она поет, чего еще надо?

Она сюда приходит одна, Чтобы не быть одной там, Где никто не дышит. Я говорю: это ничья вина, Ничья она. Это — дно сна, Но там никто и не слышит.

Так ведь жить нельзя, дорогие мои. Это — подвешенность в птичьей речи, Она летит со дна на огни И не пускает к себе навстречу.

Слышишь: листва шумит за рекой, Слышишь горькую ось заката.

Соус горчит, стакан под рукой. Она ступает легкой стопой На кухню за солью или мукой. Слушаю поступь, и ничего не надо. * * *

Что-то в воздухе там на холмах, В тех крутых переулках. Только гости мы здесь на свой страх, Но без риска как будто. Если дом покидаешь навек Безрассудно, безбожно, Бесшабашно поверив судьбе. Но потом осторожно

Ищешь снова на ощупь свой дом В формах нового быта. Вот в наемной квартире вдвоем, Бакалея открыта. Или как его там, зеленная. Потом С током медленной грусти Жизнь опять обживает себя На крутом спуске улиц. И оттуда бредем мы втроем Пол-км до бульвара, Снеди взять в новый дом На обед, старый стул с тротуара.

В середине пустынной страны незнакомой. Так становятся эти холмы Нам безвременным домом. В субботу напился, в воскресенье закрыто. Душа помутнела, потом прояснилась. И стало яснее под пологом быта, что я не забыл, что ты не забыта.

Ни водка, ни грохот вагонов недели не заглушают воркующей сути. Ложишься, глаза закрывая, в постель, и память стоит у кровати наутро.

И любишь последней любовью как прежде, и сердце вслепую плывет на рассвете, как бледный рассвет плывет по одежде, в надежде найти на полу под газетой записку забытую с прошлого лета.

Так жизнь ворует у души ее воздушные мгновенья. Проснешься утром в воскресенье, оглянешься — и ни души. Но понедельник тянет рано подельником свое нытье. Поддельный свет с экрана глянет, на столике горчит питье. Но коль проснулся — повезло, из дома выйдешь — рассвело.

Любовь стоит на остановке, лихой автобус пропустив, опасная, у самой кромки. Бормочет невозможный стих о влажном воздухе корытном, о мороке речей чужих. И кашляет сведенным ртом, пока судьба стучит копытом о борт автобусного быта. Надеется, что подвезет.

Чтоб дотянуть свою резину трагикомических забот от сумрака до воскресенья, замерзшая наполовину, всегда готовая в полет. В автобусе по глади белой, между полузамерзших рек

в остроконический Нью-Йорк. И там, в ответ на твой кивок, наверно, кто-то скажет: милый! Пусть незнакомый человек. Жизнь диктует свои предлоги, но осталось совсем немного до того как незнамо что. Успеваешь надеть пальто или, если жарко, рубашку. И глядишь, по улице чьей-то пролетит невзначай бумажка. Буквы стерты и знаки смыты безжалостным лётом осени. Подойдешь к продмагу — закрыто, а с такси теперь не очень-то. Вот любовь проходит под знаком, желтый свет задержался надолго не перейти дорогу, немного подожди. Вот и вся недолга. Я давно жду, так пять поколений. Ну и ладно. Мое это дело. Вот табак, вот любовь, вот лицо скрыто мелом, лифт — двадцатый этаж, а дальше — не надо.

возвращение

Закрыл чемодан, выключил свет. Проверил ключи, вызвал лифт. Взглянул на часы — полночь в Москве, за мостом, за сто теневых лет.

Возник и пропал литой силуэт. Справа, к востоку, отплыла гавань. Потом, как всегда, отложили полет. Позвонил всем любимым, сидя в баре.

В полете снилось о том, что жизнь сыграла со мной странную шутку. Как будто бы снова, собравшись, близкие, сидят со мной за столом утром.

Меня не было долго, несколько зим, а надо б вернуться домой до лета. Куда-то, где за Тресковый мыс на длинный остров плывут полеты.

Вернувшись, вижу пустынный стол, ровную, девственную поверхность. Только с краю просыпана соль, и след от стакана немного слева.

Снимаю куртку, сажусь за стол: мигают огни за окном в пустыне. Говорю о поездке, о том о сем. Привычный обед на столе не стынет. Привычно шучу, поднимаю бокал. Говорю о жизни, о шутке странной. Луны молочный, беззвучный лик течет на холодном телеэкране.

Боже, дай бог не уляжется Этот гул в ушах, с детства шумящий. То голос срывающийся слышится, То бесшумно идет на шипящих.

То он рубленый, но за ним Долог полог природного духа. Всю жизнь глаза ест жертвенный дым, Родной речи школьное эхо.

Не там, господа, вы ищете. Не уйти далеко на «как будто». Все одно в чаще водит немец-«леший», А потом жажда мучит утром.

Живу на краю, берегу, перечу, Лелею, жгу в печах гражданки. В общем, не жизнь становится речью, А скорее наоборот, наизнанку.

Вот что важно — дано в детстве, В школьной обиде, в первой забытой книжке. На тигле времени плавится естество Речи и янтарем на нитку все нижется.

Да и сам на ощупь идешь по нитке, По янтарной дороге на дальний север. Но другой дороги, куда ни кинь, нету. Там речью свищет вдоль реки ледяной ветер. Строка растаяла на грани заката, Погасла зарница последнего звука. Осталось недолго. И позднее лето Пройдет безмятежно, останется слепком

Почти наудачу — движеньем на север. Побег не навстречу, на встречу с собой А что остается: себе лишь поверить, И руки на руль, и лечь на них лбом.

В дороге, на дальней автостоянке Среди незнакомцев, потерянных тоже В стране неизбежного перемещенья, Где языки звучат наизнанку

И радио в бреющем воздухе режет И совести отвечать уже незачем. Пройти наудачу по краю провала, Взглянуть на секунду в глаза безвозвратно, Три жизни уж прожил — все кажется мало, Четвертую ночью отложишь на завтра.

А завтра пойдешь на работу, закуришь, Заскочишь, закусишь, ответишь на письма. Но сам-то себе, как ни странно, не веришь: Что это и есть та самая — жизнь.

Себя узнаешь: вот школьное фото, Княжна Мэри открыта на нужной странице. И жалко себя, как было когда-то, И так далеко до этой границы. Светлый конус в лесах. Так, живу понемногу. Мертвых бабочек в рамах Набоковый рой. Изумленно гляжу На немую природу, На погоду за рамой. Слышу ветер сырой.

Над тобой то же небо, Под ногой тот же камень. Та же глубь ледника, Его вечный полет. Скоро лето придет, И вставать будем рано, И себя не узнаем За выслугой лет.

Чуждый запах над лугом, Нераспознанный с детства, Но застывший навечно В глазах альвеол. Но — леса голубы, В фарах — знак «бесконечность» На дороге, ведущей За кордон в Монреаль.

В этом городе неоновых зал под землей, Щемящих, щебечущих, шелковых пчел Я прочел пару строк, и они улетели стрелой, И я вслед закричал.

Это странное место смешенья времен, Сна глубинных забытых вестей. Это чувствует тот, кто сам посвящен. Потому и запутан в бездонную негу сетей.

Но ты знаешь сама — наблюдатели мы За бесшумным почти ускользаньем судьбы К тем скалистым холмам, Где зимой не бывает зимы.

Но мне легче бывать в этом городе встреч, Где случайным транзитом она ви-за-ви С истекающей визой земли неземной — Той земли, где встречаемся мы.

Вот дорога уходит на северный юг, Солнце клонится в лаву реки Расцветают ночные цветы. Вспоминается вдруг: Как слова на прощанье легки.

Выдохнешь. Вылетают слова, Словно Лермонтова души зола. Уильям Блейк расстегнул ворот, Увидел уголь. Похоронен черт знает где. Этот стержень, лезвие, конус, Уходит под землю В последнюю осень. Моросит До обеда. И после. Скучно на даче. Чеховы съехали. В Ялте скучно. Ферзя увезли. Тихи поля Галлиполи. **Парданелл блеклый берег.** Победители в фесках Слепы, пьют чай из мензурок. Доктор живаго устроился на две ставки. Хватает на отпуск на Валдае. Там тоже дождь и татарва. Ничего нового. Болезнь развивается естественным образом. Бузина, белена да черемша. В завещании два кота и приемная дочь. Последнее простят, но не забудут. Или забудут, но не простят. Что еще хуже. Вот и последнее слово приветствия. Здравствуйте, как поживаете?! Меня зовут Лена. А как же еще? Воистину, уже в трех поколениях нету фантазии. Все, что заплачено и оплакано, Все, что заметано и отведено, Метит судьба нитями белыми, Словно на шкуре звериной отметины.

Ну и пора, пока зарубцуется, Дышишь и куришь, чай без сахара, Ночью тиха непроезжая улица— В этих местах не нужна охрана.

Ни она, ни охранная грамота не надобны. Морен надолбы как замка башни. Пошли мне туда письмо до востребования. Помнишь, как было в жизни вчерашней.

Ходишь к окошку, смотришь на девушку. Она стареет от раза к разу. Пора принять наконец решение, И все разрешится совсем и разом.

А я все жду, может быть сбудется. Давно пора смириться с данностью. Молоко да хлеб, в небе туманность. Вот стол да порог, вон небесная лестница. Минус двадцать пять. Лафа, ребята! Милый репродуктор поцелуй. Ледяное утро безвозвратно Превратилось в мерзлую золу.

Черный ход забит еще с гражданки, С тех времен последних белошвеек. Дворники хрустели спозаранку Черным льдом по слюдяной Москве.

Шли они, лимитного призыва, И крошилась винегретом речь. Южная, тверская и с Сибири, И темнела беспредельно ночь.

«Ароматных» дым атакой газовой Исподволь по домовым углам. И отец, пропахший йодом, камфорой, И Вишневской мази сытным запахом, Тихо вслух Есенина читал.

Ты когда-нибудь снова входил в свою прошлую жизнь, Где твои зеркала висят по текучим стенам? Проснись, говорит она, говорю: Проснись! Это только ночная дикая пена.

А ты как зомби идешь один, говоришь с детьми, В голове крутишь Солярис, чай пьешь с тенями. Проснись, живи третью жизнь: она все твердит. О чем говорить, когда близкие приходят за нами.

И что б ты ни делал, куда бы ни шел, Заломив на седой голове незримую кепку, Далеко не уйдешь. Так зияет неровный шов. Ползет, на живую нитку любви сшитой некрепко.

Так все узнаваемо, зримо при свете сквозного дня, Больнее и резче, чем донной бензодиазепинной ночью. Как жить-то можно теряя, бросая, раня, но льня, Когда время не лечит и боль пульсирует горше? Где-то в сознании газгольдеры, черные дыры, аспид нутра, Как эпидемия гриппа мятежных двадцатых. Кроется где-то рожденье на дне до утра, Родины дальней верста в цветах полосатых,

В сотках на всех, в набухающих венах дорог, В небе отечном, нависшем над городом сонным, Где продолжается кем-то отмеренный срок, Но воспрещается вход посторонним.

Я постою, стороной по краю пройду Вдоль государственной, мне неизвестной границы. Лица родных и друзей поплывут поутру В свете господнем, в преддверии тихого сердца.

И не понять, почему же еще невдомек так далеко на окольном пути Провиденья: город в тумане, где мы проживаем вдвоем. Но не помогут от грусти эти картонные стены.

Я проснулся, забыл две строчки. А потом нахлынула муть с панталыку. Так подумаешь, а что проку, не проще ли? Вести, хлопоты, как из ведра с дыркой.

Вести, новости, день ненадеванный, Грусть невесомая в луче подсвечена. Вот и странник тот очарованный Превращается в жида вечного.

Безъязыкого в бесконечности Слов стихии, явлений чуда. Там, по пересеченной местности, Архетипом плывет Иуда.

Словно душный туман от фабрики, Тех мазутных годов идиллии, И чернеют в земле сребреники, Где Иуду давно зарыли.

Мы бредем от холмика к холмику, И не видно на расстоянии В дымке утренней того облика. Что-то там мерцает за облаком, А приблизишься — медленно тает.

Холодок бежит за ворот. Поводок плывет по горлу. Человек бежит за город. Далеко не убежишь.

Ешь изюм, малину, творог. Минералку по утрам. Ты же сам себе не враг! Так подольше поживешь. Только не глядись в осколок: Там ограда и овраг.

Химчистка, девки, вот кот уставший Бредет на цепи в городской окрестности. Здесь, в государстве орла и решки, Я занимаюсь подпольной деятельностью.

Виртуальная жизнь, ветра от гавани На излете зимы к сетям астении. Уплывает облако в дальнее плавание И оседает на дальнем сервере.

Имперский путь за кордоном тянется, Пылит дорога навстречу Аппиевой. Вряд ли судьба до поры изменится, Но пора уже выдавливать каплю

За каплей, что на лето и задано. Ветер гудит в проводах разлуки. Скрипит турникет райского сада, Чужая жена ломает руки.

А я привык. Вот, билет уже выписан. Рожа на визе хоть в барак транзитом. В метели мерцают бледные лица На отмороженном том граните.

Метет поземка в полях безвременья, Виза ветшает в столе одноразовая. «На будущий год» — говорят евреи. И последнее слово еще не сказано. Она в принципе безответна, Обращайся к самому себе, Невольно жестикулируя, Сквернословя косноязыко.

В процессе валяния У бетонной ограды Храма Искусств Лежи наслаждайся Своей музыкой.

Глядишь, автобус проедет, Женщина через жизнь пройдет, Поезд далекий, собеседник милый, Гудком ответит.
Где-то в беленой комнате Она пряжу свою прядет.
Тут и там узелком неприметным метит.

Так что, гляди, вся ткань в узелках, стежках, В узорных петлях, потом в швах и разрывах. Слышишь, словно табачный дым, тает подпольный страх, Когда полночное дно все живое в небесных рыбах.

* * *

Облако, озеро, только нету башни. Дышу в пронизанном солнечном срубе. Сосед Тургенев пройдет на охоту с ягдташем. Зайдет, присядет за стол, Earl Gray пригубит.

Головой покачает: постмодернисты! А потом вздохнет: Бедная Лиза. Перед нами обоими лист стелется чистый. Посидит, уйдет, вспомнив свою Полину.

Он уйдет, и стих его тает белый, Как следы января в холодящей чаще. Незримый джип затихает слева. Слава богу, Сергеич заходит все чаще.

Слава богу, вокруг гудит заповедник, И здесь в глубине нету отстрела. Пусть это будет полустанок последний, Где душу ждет небесное тело.

Летит оно, скорей всего мимо. Висишь среди крон в деревянном кресле. Вокруг леса шелестят верлибром, Да ветер гудит индейскую песню.

СОДЕРЖАНИЕ

•дальнее дыхание весны
•Две души в потемках жили•
Экскурсия
«Я ее знаю давно»
Рождественские стихи
«Так и болтаешься между TV и компьютером»
«Цепь сигнальных огней над долиной Эйн-Керем» 1
Вариации на тему
«Я читал стихи теткам в норковых шубах»
«Я вернулся взглянуть, как живется снаружи»
•На чужом полуострове сердце спокойнее дышит 2
«Летя над океаном снега»
«Среди забот какой зимы»
Гот огонь
«Ложится ночь лениво на Норд-Ист»
stНу что же, посмотри вокруг st
Компания
«На этой улице, где живет поэт»
«Что-то в воздухе там на холмах»
•В субботу напился
«Так жизнь ворует у души»
«Жизнь диктует свои предлоги»
Возвращение
«Боже, дай бог не уляжется»
«Строка растаяла на грани заката»
«Светлый конус в лесах»
«В этом городе неоновых зал под землей»
«Выдохнешь. Вылетают слова»
«Все, что заплачено и оплакано»
•Минус двадцать пять. Лафа, ребята
•Ты когда-нибудь снова входил в свою прошлую жизнь 4
•Где-то в сознании газгольдеры, черные дыры
«Я проснулся, забыл две строчки»
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

«Холодок бежит за ворот»					49
«Химчистка, девки, вот кот уставший»					50
«Она в принципе безответна»					51
«Облако, озеро, только нету башни» .					52

Γ 82

Грицман А.

Остров в лесах: Книга стихотворений. — СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2005. — 56 с.

ISBN 5-89803-129-4

ББК 84. Р7

Грицман Андрей Юрьевич Остров в лесах Издательство «Пушкинского фонда», Санкт-Петербург, 2005

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд» 191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Тираж 500 экз. Заказ № 210. Отпечатано в типографии ООО «ИПК "Бионт"» 199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86, тел. (812) 322-68-43

